



САМУИЛ ЛУРЬЕ

ЛИТЕРАТОР ПИСАРЕВ



Самуил Лурье
Литератор Писарев

«WebKniga»

2014

Лурье С.

Литератор Писарев / С. Лурье — «WebKniga», 2014

Книга про замечательного писателя середины XIX века, властителя дум тогдашней интеллигентной молодежи. История краткой и трагической жизни: несчастливая любовь, душевная болезнь, одиночное заключение. История блестящего ума: как его гасили в Петропавловской крепости. Вместе с тем это роман про русскую литературу. Что делали с нею цензура и политическая полиция. Это как бы глава из несуществующего учебника. Среди действующих лиц – Некрасов, Тургенев, Гончаров, Салтыков, Достоевский. Интересно, что тридцать пять лет тому назад набор этой книги (первого тома) был рассыпан по распоряжению органов госбезопасности...

Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ	5
Глава первая	5
Глава вторая	13
Глава третья	20
Глава четвертая	27
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Самуил Лурье Литератор Писарев

КНИГА ПЕРВАЯ

За теориею словесности следует история русской литературы. Эта история, как и все другие, представляет список имен, которые навсегда останутся для ученика именами, ровно ничего собою не означающими. Жил-был Нестор, написал летопись; жил-был Кирилл Туровский, написал проповедей много; жил-был Даниил Заточник, написал Слово Даниила Заточника; жил-был Серапион, жил-был, жил-был, и все они жили-были, и все они что-нибудь написали, и всех их очень много, и до всех их никому нет дела, кроме гимназистов и исследователей старины.

Д. И. Писарев. Наша университетская наука

Глава первая 1840—1856

Варваре Дмитриевне Даниловой долго не удавалось выйти замуж. Росла она без матери; ни сестер, ни подруг. Воспитывалась в доме тетюшки Натальи Петровны. Зябкое девичество, французский дневник. Владела французским получше многих уездных барышень, порядочно играла на фортепиано.

Однако манерам ее не доставало плавности, в улыбке не было простодушия, обращение отзывалось какой-то суховатой восторженностью. И драгунские офицеры, наезжавшие к родным в Орловскую губернию, не спешили ангажировать Варвару Дмитриевну на гротфатер или же на мазурку. Ей исполнилось уже двадцать четыре, когда румяный, с холеными усами штабс-капитан Писарев сделал предложение.

В октябре тридцать девятого сыграли свадьбу, переехали в Знаменское Елецкого уезда, поселились в просторном, многолюдном доме: Иван Иванович владел имением сообща с братьями. Потянулась крикливая череда мелкопоместных развлечений. Не прошел медовый месяц, когда Варвара Дмитриевна случайно прочла письмо своего молодого супруга к какому-то бывшему сослуживцу. С некоторой горделивостью Иван Иванович сообщал, что вышел в отставку и женился – на деньгах.

«И не было той любви, которую я думала встретить», – жаловалась Варвара Дмитриевна дневнику.

В начале октября сорокового года родился у Писаревых сын Дмитрий. Кормила его кормилица, нянчила няня. В Знаменское были приглашены сперва бонна – фрейлейн Блез (малыш звал ее Люлей), а потом и гувернер – мсье Латорильер.

Варвара Дмитриевна неусыпно руководила воспитанием сына. Кажется, ей не чужда была мысль, что вот она среди сугробов растит необыкновенного человека.

Она приучила малыша к ежевечерней исповеди. Вдвоем разбирали каждый прожитый день. Митя вел для мамы дневник, признавался ей в шалостях и проступках. Проступки порою бывали важные: читая задремавшей Люле Шиллерову «Тридцатилетнюю войну»,

пропустил несколько страниц. Ему и в голову не приходило, что можно скрыть, придержать хотя бы и самую мимолетную мысль. Домашние прозвали Митю «хрустальной коробочкой».

Варвара Дмитриевна считала, что ни часа не должно пропадать впустую, без пользы для развития ребенка. Игры с деревенскими ребятишками, зряшная беготня, бесцельные прогулки не допускались. Сразу после завтрака начинались занятия. Французские глаголы, немецкий диктант, чтение вслух, чистописание, стихи наизусть...

Чему учить мальчика, кроме языков и арифметики, Варвара Дмитриевна не знала, и никто в уезде не знал. Выписывали «Детский журнал», вечерами читали вслух. Прослышав, что дьякон соседнего прихода славился в семинарии как отличный латинист, призвали дьякона. У писаря каллиграфический почерк – наняли писаря.

Случались в Знаменском гости – Митю высылали к ним, и те, как водится, ахали: до чего же бойко малютка стрекочет по-французски, и держится при этом невозмутимо, точно взрослый.

Митя выказывал прилежание, и языки давались ему легко. Но, к огорчению Варвары Дмитриевны, больше всего он любил играть в куклы да раскрашивать в книжках политипажи. Иногда отец брал его с собой на охоту. Мальчик до слез пугался лошадей, собак, выстрелов и выкриков. Иван Иванович прозвал сына нюней и время от времени собственноручно сек.

Но это бывало редко. Глава семьи большую часть жизни проводил перед зеркалом. Выписывал из столицы разные притирания, лосьоны. Выезжал на поля не иначе как под зеленым вуалем. Пользовался успехом у красавиц околотка.

Между тем, дела по имению шли неважно, а после неурожайного, пожарного сорок восьмого года стало ясно, что Знаменское придется продать за долги.

Хорошо еще, что купить вызвался двоюродный братец Николай Эварестович Писарев, бывший олонекский гражданский губернатор, богатейший помещик.

У Ивана Ивановича было еще небольшое имение в Тульской губернии, в Новосильском уезде. Называлось оно Грунец. Туда и решили перебраться.

Семейство Писаревых к этому времени разрослось. Вере, дочери, шел пятый год.

А еще Варвара Дмитриевна взяла на воспитание племянницу мужа, Митину ровесницу, девятилетнюю Раису.

Ее мать, Настасья Ивановна Коренева, умерла в Москве, осиротив троих детей. Раиса и раньше гостила у Писаревых. Теперь осталась насовсем. Уж Варвара-то Дмитриевна знала, каково это – расти без матери. Но тут были не только христианские, не только родственные чувства. Все поступки, знакомства и разговоры Варвары Дмитриевны имели одну цель: как можно лучше приготовить Митю к неведомой, но великой будущности.

А Митя тяготился бесконечными уроками. Ему не доставало честолубия, упорства, желания отличиться. Да и перед кем? Сюсюканье взрослых приелось. Верочка еще слишком мала. Нужен был сверстник, равноправный товарищ.

Раиса была умна, насмешлива, развита не по годам: успела уже распробовать судьбу «чужой барышни», маленькой приживалки, успела узнать зависимость, одиночество, утраты. И читала в отцовском доме много, даже романы. Варвара Дмитриевна просто в ужас пришла, когда племянница без тени смущения призналась, что прочла «Ледяной дом» Лажечникова, – ни больше ни меньше!

Девочка была с характером. Смелая, гордая, скрытная. И собой недурна: худенькая, стройная, темные волосы, серые глаза. Рыхловатый, краснощекий Митя подле кузины казался малышом. Она его называла «деточкой», он ее прозвал «бабусей», Раизой, Розой. Дети стали неразлучны. Расчет мамаш, если он был, оправдался вполне. Занятия пошли гораздо веселей. Но зато скоро весь дом возревновал Митю к «чужой барышне». Однажды старая нянька сказала в шутку, что Раиса, дескать, чересчур уж тощенькая. Мальчик залился

слезами: «Зачем ты это сказала, ведь я теперь никогда уже не смогу тебя любить, как прежде».

Ему было девять лет. Он был влюблен в Раису и часто, засыпая, представлял, как выносит ее на руках из горящего дома, или дерется за нее на дуэли, или бросается за ней с обрыва в реку.

Переезд в Грунец совершился осенью пятидесятого года. Варвара Дмитриевна была удручена неприглядностью новой обстановки: река далеко, сад запущен, и дом неудобный, скрипучий – даже не дом, а просто собрание пристроек и флигелей, косящихся в разные стороны.

Впрочем, к приезду господ были выбелены стены, заново расписаны потолки, ампирная мебель обита малиновым штофом, исправлены раздвижные вольтеровские кресла. Дети бродили по комнатам, еще не получившим названия и назначения. В эти дни Раиса придумала игру. Она так и называлась – Наша Игра. Каждый – Митя, Раиса, Вера – брал под свою власть и покровительство нескольких кукол. У кукол были красивые имена – Эльмира, Шам, Антонио. Их знакомили, женили, разлучали. Каждый вечер отношения менялись, фарфоровые персонажи тосковали друг без друга и соединялись вновь. Сюжет вился. Игре не видно было конца.

Но Мите предстояло ехать в Петербург. Николай Эварестович Писарев вызвался платить за обучение племянника в гимназии. «В люди выйдет, станет на ноги – сочтемся». Много слез пролила Варвара Дмитриевна, и будущий гимназист, конечно, плакал навзрыд. Однако расставание было неизбежно. Это ясно понимали все, даже Иван Иванович, высказавшийся в том духе, что, дескать, не свиней же Мите пасти в деревне.

Год прошел в деятельной подготовке к экзаменам, которые Митя, по замыслу матери, должен был держать сразу в четвертый класс. С мсье Латорильером пришлось к этому времени расстаться, и занятиями увлеченно руководил Андрей Дмитриевич Данилов, брат Варвары Дмитриевны, недавний студент, красноречивый неудачник.

Был Андрей Дмитриевич в ту пору молод, великодушен и проникнут сознанием своей высокой миссии. Ему были вверены умы и сердца удивительных детей.

Он совершенно разделял убеждение сестры, что нет на свете другого такого кроткого, правдивого и остроумного малыша, как Митя. Всякую мысль схватывает на лету, каждое новое слово мгновенно запоминает. Знать бы, на каком поприще суждено ему отличиться. Слыханное ли дело, чтобы ребенок с восьми лет сочинял, да еще по-французски? И ведь забавно пишет, и эта сказка его, «Рамалион», где действие происходит на таинственной планете «Мир духов», – прелестная сказка.

Впрочем, Андрей Дмитриевич находил, что способности Раисы едва ли уступают Митиным. Он восторгался слогом ее дневника, силой ее характера, умом. «Какой материал! Это будет первая женщина в России!» – восклицал он за вечерним чаем. Варвара Дмитриевна, слушая брата, лишь качала головой.

Наступил день отъезда, мягкий декабрьский день тысяча восемьсот пятьдесят первого года. Вещи уложили в кибитку. Притихшая семья, кое-как покончив с завтраком, проследовала в образную. Не сводя глаз с киота – старинные иконы в серебряных ризах, пучки трав с берегов Иордана, – изо всех сил сдерживая слезы, Митя повторил за матерью молитву, которую затвердил, едва научившись говорить, – о ниспослании понятия к наукам. Варвара Дмитриевна повесила ему на шею бархатный мешочек с вышитым изображением Димитрия Солунского. Внутри была вата с мощей святого – лучшее средство от головной боли.

Потом, уже простившись, долго шли все вместе по накатанной, в мраморных разводах, дороге, шагах в ста позади кибитки. Говорили разные пустяки.

Наконец, поднявшись на косогор, кибитка остановилась. Дяденька Константин Иванович – он ехал в Петербург по делам – усадил плачущего Митю на подушку и сам сел рядом, застегнув меховую полость. Кучер крикнул на переминавшихся лошадей, те резво взяли с места. Иван Иванович, Варвара Дмитриевна, Андрей Дмитриевич, Вера и Раиса размахивали цветными платками, пока не скрылась кибитка в быстро темнеющей дали.

...Потянулась дорога. Вечером в Сергиевском переменили лошадей, – дальше ехали на почтовых. Под утро остановились в Туле. Еще сутки добирались до Москвы. Полозья тонули в сугробах, скрежетали на редких мостовых, опасно звенели по наледям. На каждой почтовой станции пахло щами, дегтем, отсыревшей овчиной, блестел начищенными боками дежурный самовар. От самовара до самовара верст двадцать. Марьино, Маляково, Серпухов, Молоди, Подольск. Дорога шла сквозь сон, прерывалась ознобом и странно громкими мужскими голосами.

В Москве ночевали у родственников. Наутро отправились в контору железной дороги.

«...Там были люди всяких классов: купцы, мещане, офицеры, солдаты, дворяне и даже Татары. Итак, мы наконец поехали; у меня невольно сжалось сердце, но это было скорее от нетерпения, от беспокойства, а не от боязни. Машина тронулась сначала очень медленно, потом все скорее и скорее и, наконец, достигла невероятной степени быстроты: мы летели».

Целые сутки летел поезд до Петербурга. На следующее утро дяденька Константин Иванович отдал Митю с рук на руки тетеньке Наталье Петровне. Теперь мальчик должен был жить у нее.

«Тетенька вышла нам навстречу, и я бросился в ее объятия и благодарил ее мильон раз за ее благодеяние и обещал ее любить, как Тебя, милая, нежная Мамаша».

Так вот и случилось, что отрочество Мити Писарева прошло вдали от родного дома, среди петербургских подагрических дядюшек и перезрелых кузин, в одинокой, захватывающей борьбе с гимназической программой. Родители, Вера, Роза, дяденька Андрей застыли в ожидании где-то далеко, на краю учебного года, превратились в адрес на конверте, приготовленном к воскресенью, в слова «каникулы» и «Грунец», в мечту, неотвратимо тускнеющую к декабрю, но прибывающую после солнцеворота, – совсем как петербургский денек.

Наталья Петровна что ни год нанимала новую квартиру, но всякий раз так, чтобы не слишком удаляться от Гагаринской улицы, от Третьей Санкт-Петербургской гимназии, а стало быть, и от Пустого рынка, и от церкви Слепых, и от Летнего сада, – Литейная часть, одним словом.

В Третьей гимназии, где плата за обучение была не слишком высока, но состав преподавателей превосходный, – в Третьей гимназии учился Митя Писарев. И другой Митя, Уваров, тоже внучатый племянник Натальи Петровны.

А еще жила у нее Марья Федоровна Уварова, сестра этого другого Мити, вздорная девица лет двадцати.

Добрая и набожная женщина была штабс-капитанская вдова Наталья Петровна Данилова, урожденная Жукова. Любила племянников и племянниц, охотно тратила на них скромный свой пенсион и не докучала ни нотациями, ни нежностями. Воспитала в свое время Вареньку, то бишь Варвару Дмитриевну, теперь вот ее сына взяла к себе. Пусть учится.

И, невольно подражая Наталье Петровне, дальняя-предальная петербургская родня Писаревых одобрительно гудела вокруг Мити все время, пока он учился в гимназии. Дарили ему портфели и галоши, книжки и перочинные ножички, конфеты и серебряные рубли. Закармливали на Рождество и на Пасху, звали на детские балы. Спрашивали об отметках. Хвалили почерк. Ставили в пример другим детям – смотрите, какой он скромный, прилежный, благовоспитанный.

– Это-то верно, – вздыхала Наталья Петровна, – только вот вялый он какой-то. Тихий слишком. А и расшалится, так некстати и чересчур. Затеет бегать по всему дому с другим-то Митенькой, с Уваровым, – батюшки мои, не угомонишь. Пока не разобьет что-нибудь – зеркало, или чашку, или нос. Да оно бы ничего, только редко резвость эта в нем проявляется. И то сказать, всё не дома. По своим скучает, бедный. Потом и учиться нелегко. Задач им, уроков задают – как только справляется! А Митя в классе-то самый младший. Писала ведь я Вареньке, что трудно ему будет...

Учился Митя Писарев очень хорошо, хотя и без блеска. Шел то вторым, то третьим. И награды, которые он получал каждую весну, при переходе в следующий класс, давались ему ценой усилий, головной боли. Но зато не бывало скучно. Жизнь скрашивал азарт отличника, понятливая память что ни день торжествовала победу, а главное – взрослые были довольны Митей. Ради этого стоило отложить «Трех мушкетеров», спрятать в стол коробку с игрушечными солдатиками. Завтра спросят из латинского, а Овидий не готов. И надо подзубрить физику – трение. И шесть задач по алгебре. И немецкие примеры.

День за днем, вечер за вечером уходили гимназические годы на приготовление уроков, на ожидание, что вызовут, спросят, пригласят к доске.

«Я имею 5 по всем предметам, включая военные упражнения: итак, я сравнялся с Ординым, и не моя вина, если он считается первым».

Классы начинались в девять. Митя часто опаздывал. Мучительно было просыпаться впотьмах, становиться босиком на скользкий стылый паркет. Умыться, причесаться, глотнуть чаю с молоком, натянуть шинель и галоши, броситься к дверям и вернуться за позабытым учебником Смарагдова. Вывалиться, наконец, из подъезда в декабрьскую мглу, расквасив снежок на тротуаре. И с первым шагом, с первым плотком темного, сырого воздуха забыть, что видел во сне, и вспомнить, что на сегодня задано...

Догорают плашки на чугунных тумбах, мерцают свечи за обледенелыми окнами домов, топочут лошади, пахнет хлебом, проплывают заснеженные шинели. Оскользаясь и взмахивая руками, бормоча вызубренную строку из «Илиады», спешит на урок маленький гимназист.

Потом он идет по коридору, вдыхая тепло, пропахшее раскрошенным мелом и влажной ветошью. По правую руку – двери классов, там уже бубнят утренние голоса, по левую руку – большие окна, в которых сквозь его отражение, сквозь блеклые чернила столичной зимы уже проступает резкий контур соседней крыши с прямоугольными зубцами дымоходов.

Уняв дрожь, постучаться, извиниться, выслушать выговор, проскользнуть, не глядя на пересмеивающихся одноклассников, к своей парте, скорей достать все, что надо, и замереть на несколько секунд, пока возобновляется урок, пока забудут...

Вообще-то пансионеры гимназии не любили приходящих учеников, этих прилизанных баричей, которых за ручку приводили в класс горничные, а дома ждала отдельная комната, мягкая постель, рождественская елка. У пансионеров была своя компания. В карманах черных курточек они прятали окурки. Ночами в дортуарах по очереди рассказывали соблазнительные и страшные истории. Делились друг с другом родительскими посланками, на уро-

ках тайком сочиняли письма в далекие степные уезды, а перед ужином гурьбой слонялись по Литейной, робко роняя неприличные слова вслед проходившим мещанкам. В гимназии случались драки.

Но Митю Писарева почти не трогали, хотя он и был самым младшим в классе. В конце концов, он тоже приехал издалека, и жил не с родителями, а у какой-то тетушки, он не зазнавался и не ябедничал. Его дразнили «девчонкой», но, по правде говоря, и нельзя было не дразнить: высокий звонкий голосок, нежный румянец (фамильная черта!), тетрадки, все как одна, любовно обернуты цветной бумагой, перевязаны ленточками, в учебниках закладки, и перья всегда очинены... просто досада брала. Ходил Митя Писарев важно, как взрослый, руки держал на отлете, а толкни – сразу упадет. Драться с ним было неинтересно. Вот разве ущипнуть или руку выкрутить – чтобы весь покраснел, изображая невозмутимое достоинство, а голос жалобно задрожал: «Да что же это, господа! Полно ребячиться! За что?».

Чистюля, плакса, отличник – хотя казеннокоштный Ордин учился лучше, и Мостовенко и Цветков не отставали, – Митя все же иногда удивлял товарищей. То загрустит, затихнет – и целую неделю учителям от него толку не добиться. То на рекреациях ринется со всеми в обжог – пятнашки, – на щеках багровые пятна, визгливо и громко хохочет, и хоть сам директор выйди в коридор – Писарев не увидит и не услышит.

Учителя к нему благоволили, особенно Буш, Эдуард Павлович, преподаватель немецкого. Словесник Владимир Яковлевич Стоюнин был суровее всех. И Писарев томился на уроках литературы. Свои гладкие, дельные сочинения он начинал общими местами, тоненьким эхом возвращая Стоюнину его же честные, черствые мысли. Но это в сочинениях по гимназической программе. А программа была урезана, хрестоматия Галахова бедна. И чтобы развивать учащихся, Стоюнин задавал им писать на вольные, неожиданные темы: «Первый урок за азбукой», «Скука»... В этих случаях у Писарева, к общему удивлению, выходило лучше всех. Всякий раз получался беззащитный мемуар, поразительная смесь жалобы и насмешки, точно было двое Писаревых – маленький и большой, точно старший писал о младшем, все без утайки.

«И нам случается скучать; как засидишься дома на праздниках; на улице холодно, пойдешь гулять, уши отморозишь; дома скучно сидеть; читать надоело, писать нечего, да если и было бы, так лень. – А тут шепчет какой-то голос, вроде совести: – повтори-ка риторiku; да и хронологию не худо было бы поучить. Или набери слова из Корнелия Непота. – Э, отвечаешь на этот тайный голос, риторика пустяки, и повторять-то не стоит, хронологию подучить успею, ну а слова... да еще время впереди...

Вот и заглушишь кой-как тайный голос и опять предаешься полусонному бездействию и погрузишься почти в то состояние, в котором Китайцы представляют своих ленивых богов. – Но ведь это смешная сторона скуки; но беда, если к ней присоединится какая-нибудь другая причина; например, уединение; тогда она принимает громадные размеры, она переходит в тоску; к скуке присоединяется какая-то болезненная грусть, какое-то томительное, тяжелое, душное чувство одиночества, какая-то тайная, непонятная боязнь, сжимающая сердце, и скука, чувство и без того неприятное, делается невыносимым, переходит в хандру, приводит в отчаянье, и решительно отравляет жизнь».

Стоюнин выводил на полях: «Очень хорошо» – и ставил дату. Ни он и никто другой ни тогда, ни после не видели на линованной бумаге пятен судьбы.

Так прошли три с половиной года. Все чаще снилась Писареву Роза. Все дольше просиживал он у окна, глядя на грязный двор, загроможденный поленьями дров. Бродячие музыканты завывали: «Ты умерла, ты умерла!». В табеле были четверки за прилежание и за поведение. К счастью, это был седьмой класс, весна пятьдесят шестого. Прошли экзамены, а с ними – апатия и тоска. Пятнадцатого июля состоялся выпускной акт. Были прочитаны речи на греческом, латинском, французском, немецком и русском языках. Затем приступили к раздаче наград. Дмитрий Писарев получил похвальный аттестат за номером 739 «с правом вступления в гражданскую службу с чином четырнадцатого класса и с преимуществами второго разряда чиновников по воспитанию». Он был награжден первой серебряной медалью. Золотую получил Филипп Ордин.

Гимназический сторож в последний раз взмахнул колокольчиком, и музыка свободы раздалась в сердцах девятнадцати выпускников.

Назавтра Писарев уехал в родительское имение.

Стоит ли описывать деревенское лето? Всякий легко представит себе землянику в траве, и тающий в зените обрывок облака, и листву, на которой дрожат пятна света, отраженного рекой. Холстинковые платья барышень, кружевные зонтики; голоса в роще, завтрак на опушке, муравей бежит по скатерти, огибает серебряную солонку. Аукаются горничные девушки, обирая сумрачный малинник. И к вечеру будет гроза.

Все эти *parties de plaisir*, и купание в Зуше, и Куперов «Шпион», которого читают вслух, расстелив пледы под старинной липой. А качели в саду! А шахматы на террасе!

И Митя Писарев был счастлив. Он потолстел. Отпустила судорога, пропал пугливый осклаб смышленного карлика. Он снова был наконец-то дома, и все любили его: родители, сестры Вера и младшая, Катенька, и Роза. Мир сомкнулся вокруг, стало светло и безопасно.

Смысл и долг и цель жизни заключались, собственно, в том, чтобы так было всегда. И для этого Мите надлежало непременно и скоро добиться солидного положения в обществе, сделать карьеру, упрочить семейный бюджет.

Навелили благодетеля Николая Эварестовича в белоколонном его Истленеве. Благодетель был человек дальновидный, практический был человек. Он говорил, что раз уж нет у Мити склонности к военной службе, то поступать с чином четырнадцатого класса в какой-нибудь департамент и вовсе глупо. В лучшем случае годам к сорока получишь статского советника с окладом тысячи в три, а это не бог весть что, особенно в столице. А в провинции служить не всякий сумеет, – надо ох какие тонкости знать досконально. Тем более сейчас, в начале нового царствования, после проигранной кампании в Крыму. Неизвестно, что ждет впереди. Поговаривают о каких-то реформах. Так что если молодой человек желает продолжать образование – давай Бог. Учение нынче в чести.

Благодетель выразил готовность платить за Митю в университет. Лучшего и желать было нельзя. Прошное съезжилось стопкой учебников в теткинском шкафу, будущность сияла эфесом студенческой шпаги. Правда, опять сквозила разлука; опять, словно в холодную воду, входить в жизнь, полную городского шума и чужих людей, – но лишь затем, чтобы, выбравшись на берег, никогда уже не покидать его.

Оставалось выбрать факультет.

«По математическому не пойду, потому что математику ненавижу, и в жизни своей не возьму больше в руки ни одного математического сочинения... По естественному тоже не пойду, потому что и там есть кусочек математики; юридический факультет сух... В камеральном факультете нет никакой основательности... Разве на восточный... Поехать при посольстве в Турцию или в Персию... жениться на азиатской красавице... привезти ее

в Петербург и посадить в национальном костюме в ложу, в бельэтаже, в итальянской опере... Это, впрочем, пустяки... А вот что: ведь на восточном придется осиливать несколько грамматик, которые, пожалуй, будут похуже греческой... Ну и Бог с ним! Значит – на филологический!»

Читатель знает, конечно, что в этом беглом повествовании прошло уже более половины жизни Дмитрия Писарева. Ему шестнадцать лет.

Он не любил еще никого, кроме родителей, сестер и худенькой строгой кузины; не интересовался ничем, кроме картинок, игрушек и авантюрных романов. Подолгу жил от родных вдалеке. Выказывал отличные способности, но часто скучал и плакал. Ходил к исповеди и не читал газет.

Очень скоро вся эта светлая половина жизни представится ему сплошной дремотой, оцепенением путника, подавленного набегаящим, пронизывающим пространством. Писареву покажется, будто он проспал отрочество, как дорогу от Грунца до Петербурга, как урок в гимназии...

Глава вторая

СЕНТЯБРЬ 1856 – АВГУСТ 1857

Профессоры читали слишком громко. На первом курсе числилось всего двенадцать филологов. Один из них, впрочем, на лекциях не показывался. Звали его Всеволод Крестовский, он писал стихи, печатался, вращался в литературных салонах. В университете он появился лишь перед началом переходных экзаменов, весной.

Остальные первокурсники посещали занятия довольно усердно. Тем более что и лекций было всего двенадцать в неделю, и записывать их было не обязательно (не то что в Главном педагогическом институте!). Один Писарев вел, разумеется, тщательнейшие конспекты и школьным прилежанием вызывал снисходительные усмешки соседей. «Рыженький, розовенький, с веснушками на лице, одетый с иголочки, он глядел вербным херувимчиком. Лекций он записывал бисерным почерком в красивеньких, украшенных декалькоманиею тетрадочках с розовыми клаксапирчиками. Всегда тихонький и кроткий, он имел вид не столько студента, сколько гимназиста третьего или четвертого класса», – впоследствии вспоминал однокурсник его Скабичевский.

Главными предметами были древняя история (профессор Касторский), теория языка и история древнерусской литературы (адъюнкт-профессор Сухомлинов), а также славянские наречия (академик Срезневский).

Касторский был бездарный смешной педант, Сухомлинов – посредственный ученый, но умелый лектор, а Срезневский – блестящий исследователь и требовательный преподаватель.

Студенты потешались над Касторским, уважали и побаивались Срезневского и аплодировали Сухомлинову.

«Я до сих пор помню, как он однажды, отработав специальный предмет лекции, начал говорить о величии знания вообще и вдруг заключил свою лекцию словами Беранже *«L'ignorance, c'est l'esclavage, le savoir, c'est la liberté (невежество – рабство, знание – свобода)*. Нас так и подкинуло кверху, эффект вышел оглушительный...»

Известно, как действуют на новичков вступительные лекции. В самом монотонном изложении самого заурядного преподавателя слышится обещание и тайна. На вас обрушивается целый мир новых слов, и каждое кажется путеводным. Горстке ошеломленных недорослей толкуют о вещах, самого существования которых они не подозревали. В плохо протопленных аудиториях порхают заманчивые названия: Краледворская рукопись, Моление Даниила Заточника, Русская Правда. А сколько имен: Страбон и Гизо, Лютер и Маколей, Востоков и Кирилл Туровский...

Все это было увлекательно и лестно. Все хотелось узнать самому, из первых рук, с самого начала и по порядку. Но стоило ухватиться за что-нибудь, за любое название – и в руке оказывался кончик бесконечно длинной нитки, которую никак всю не размотать. У той же Краледворской рукописи была такая сложная и загадочная история, что человеческой жизни могло не хватить на ее изучение...

Это все потом, потом. А пока что глаза щипало от восторга. И учиться было не в пример легче, чем в гимназии. Времени свободного открылась пропасть. Обнаружилось, что день велик и Петербург огромен. Европейский город, пятьсот тысяч жителей. До чего затейливо

был он иллюминирован второго октября, как раз в день рождения Писарева, – по случаю въезда государя (Александр II возвращался из Москвы, где проходили коронационные торжества)! Как славно было после лекций плечо в плечо с Ординым и Мостовенко (вчерашними однокурсниками, а теперь однокурсниками) пройти по Невскому, по солнечной стороне, распахнув плащи так, чтобы виднелись синие воротники мундиров.

Проголодавшись, заходили в кондитерскую, где шелестели дружно листаемые газеты, будто ветер в снастях корабля.

– «Сиамская армия, по общему мнению, обладает наилучшими боевыми слонами из всех стран Крайнего Востока», – читал вслух один завсегдатай другому.

А на Невском прибывал шум экипажей, говор толпы. Мимо витрин скользили нарядные дамы, франты в черных касторовых пальто. Один за другим зажигались фонари, и наступал вечер.

Пора было домой. Жил теперь Писарев не у тетушки Даниловой, а у дядюшки – генерала Роговского. Генерал был богат и со связями в кругах средней петербургской бюрократии. Предполагалось, что в доме у него Митя Писарев усвоит светский лоск и сделает нужные знакомства. Ну и, конечно, здесь он чувствовал себя гораздо независимей, чем под опекою тетушки Натальи Петровны. Генерал покровительствовал ему равнодушно и требовал одного: не опаздывать к обеду. В комнате у Мити стоял замечательный, тяжелый, орехового дерева стол, и можно было сколько угодно заниматься древнегреческим, читать «Парижские тайны» или возиться с переводными картинками.

В самом конце первого семестра профессор Сухомлинов на лекции по истории языка заговорил о том, что филолог должен внимательно следить за работой западных мыслителей.

– Мы не имеем права брать сведения из третьих рук, как это бывает слишком часто, – внушал Сухомлинов. И закончил так: – Вот здесь передо мной лежит несколько статей, написанных виднейшими немецкими учеными. Вам, господа, предстоит не только прочесть их, но и перевести.

Все его слушатели поместились на одной скамье в первом ряду. Писарев сидел посредине и к кафедре подошел последним. Ему досталась самая толстая брошюра: «Языкознание Вильгельма Гумбольдта и философия Гегеля». Имена эти Писарев знал только понаслышке, а фамилия автора брошюры – Штейнталь – и вовсе ничего ему не говорила. Но выбора не оставалось.

Впрочем, он принялся за эту работу с увлечением.

Он обожал Михаила Ивановича Сухомлинова. «Я увлекался в одно время и чувством массы, и своею личною потребностью найти себе учителя, за которым я мог бы следовать с верою и любовью». На лекциях Сухомлинова, особенно когда он читал теорию языка, Писареву казалось, что за малопонятными словами мелькает особенный, стройный мир знаний, где все друг с другом связано и полно смысла; казалось, что филология – великое призвание, тайное братство умов, обладающее истиной и способное повернуть мир. И от причастности к этому призванию нарастал восторг: «Хочу служить науке, хочу быть полезным, возьмите мою жизнь и сделайте из нее что-нибудь полезное для науки!» И вот наконец случай представился.

На святках Писарев засел за брошюру Штейнталья – и руки у него опустились. Сто сорок страниц немецкого философского текста!

«...Вообразите себе, что Штейнталь, который о высоких материях пишет так же удобопонятно, как и все прочие немцы, начинает сравнивать Гегеля с Гумбольдтом, и притом не факты, добытые ими, не результаты, к которым они пришли, а методы их мышления и исследования; и это сравнение продолжается на 140 страницах; и это надо было переводить

мне – человеку, читавшему Маколея с трудом и Диккенса без особенного удовольствия... У меня на первых пяти строках закружилась голова...»

Можно было отказаться от задания и вернуть книжку Сухомлинову. Можно было попросить у него разъяснений, взять список дополнительной литературы, попробовать разобраться в теме. Наконец, стоило попытаться все же одолеть эту злосчастную брошюру, дочитать ее до конца.

Ничего этого Писарев делать не стал. Ему было страшно и скучно, и самолюбие страдало. Подавленный необъятностью предстоящей задачи, он прибегнул к испытанной гимназической уловке – переводить слово в слово, не вникая в смысл, «не читать, а прямо переводить, хотя бы связь между отдельными периодами и смысл целого остались для меня совершенно непонятными».

Таким способом удавалось изготовить не более двух страниц в день. Нелепая работа должна была отнять почти семестр. Этот расчет омрачил праздники.

Новый год Писарев встречал в дядюшкиной гостиной: легкий ужин, потом шампанское, конфеты. За столом толковали о ворах, которых в эту зиму появилось так много в Петербурге. Благодаря амнистии, объявленной в августе по случаю коронации императора Александра, свободу получили не только политические преступники – декабристы, петрашевцы, но и тысячи уголовных. Они наводнили обе столицы. Сколько сорвано дорогих шапок с проезжающих даже по Невскому проспекту, сколько часов вырвано из жилеток, серег прямо из ушей... Писарев рассказал историю, слышанную от Скабичевского, – как одного студента на прошлой неделе ткнули ножом в бок и отняли у него сто рублей только что полученного гонорара. И это на площади Мариинского театра, в восемь часов вечера!

Генерал сообщил свежую московскую сплетню: славянофил Шевырев заспорил с англоманом графом Бобринским о сэре Роберте Пиле. Профессор Шевырев ругал Пилу, Англию и вообще Запад. Бобринский назвал Шевырева квасным патриотом, который кадит правительству; профессор ударил его по лицу. А Бобринский повалил Шевырева и стал топтать ногами, и славянофила на простынях унесли домой полумертвого.

Митя не знал, кто такие сэр Роберт Пиль и Шевырев. Он отодвинул краешек тяжелой шторы и загляделся на снегопад, на свет, колеблющийся в чужих окнах. До слез хотелось в Грунец.

Перед сном он долго молился о том, чтобы все были здоровы и счастливы: Мамаша, Папаша, Раиза и сестры.

Восьмого февраля состоялся университетский акт – ежегодное торжественное собрание всех факультетов. Срезневский прочел обзор палеографических трудов в России – прочел, против обыкновения, занимательно и горячо, так что филологи поглядывали вокруг не без гордости. Впервые Писарев увидел ректора университета, Плетнева, о котором знал, что это «друг Пушкина и Гоголя».

Среди приглашенных было много важных стариков в звездах и лентах и несколько дам. Присутствовали студенты Главного педагогического института. Один из них подошел к Срезневскому, когда тот, провожаемый аплодисментами, спустился со сцены в зал. Писарев удивился, заметив, как дружелюбно заговорил с этим студентом язвительный академик. Вокруг перешептывались. Выяснилось, что фамилия студента – Добролюбов и что в институте он на четвертом, последнем курсе. Больше никто ничего о нем не знал.

В том же актовом зале зимой по воскресеньям давались музыкальные концерты. Инспектор студентов Фицтум фон Экштедт дирижировал оркестром (стоя, как это было принято, лицом к публике). Оркестр считался студенческим, но состоял главным образом из профессиональных музыкантов. В концертах участвовали артисты итальянской труппы,

примадонны императорских театров. Играл оркестр посредственно, однако публика – все больше родственники и знакомые университетских – посещали концерты усердно и аплодировали охотно. Все знали, что сбор от продажи билетов поступает к Фицтуму – на вспоможение нуждающимся студентам. Писарев купил абонемент на десять концертов (он стоил рубль). Студенческие места были на хорах.

Здесь и разговорился Писарев со своим однокурсником Сашей Скабичевским. Господи, чего только не знал этот юноша! Он так и сыпал именами итальянских композиторов, петербургских актрис, немецких философов, французских историков и русских журналистов.

– И сам немного пишу. Вот хочу Сухомлинову дать повесть для сборника. А вы, верно, готовите что-нибудь специальное, что-нибудь из классической древности? Наши все заметили, что вы, Писарев, единственный на курсе знаете греческий как следует.

– Ну уж и как следует. А что это за сборник такой?

– Разве вы не слышали? Министр просвещения разрешил издать сборник студенческих работ. Уже выбраны редакторы от каждого факультета. А на апрель назначена общая студенческая сходка для объявления о сборнике.

...Обширная, устроенная амфитеатром одиннадцатая аудитория была битком набита студентами и посторонними посетителями. Впереди сидели редакторы и несколько нарядно одетых женщин. Сухомлинов председательствовал.

«Я не в состоянии передать энтузиазм, которым были исполнены присутствовавшие, в том числе и я, – вспоминал Скабичевский, сидевший рядом с Писаревым. – Энтузиазм этот дошел до высшей точки кипения, когда Сухомлинов, большой вообще мастер по части патетических заключений своих лекций... прочел прочувствованную речь, после которой последовал оглушительный взрыв долго не смолкавших рукоплесканий».

Дело было не только в сборнике, хотя многие намеревались в нем участвовать и прославиться. На сходке было объявлено, что князь Щербатов, попечитель университета, разрешил завести студенческую кассу и библиотеку. Но всего важнее было сближавшее всех чувство причастности к серьезному делу и заманчивый свет наступающего счастья. Вот же она, рядом, настоящая взрослая жизнь, в которой вас с нетерпением и радостью ожидают, потому что вы необходимы. И Писарев хлопал в ладоши громче всех и даже топал ногами от восторга.

В шинельной Скабичевский познакомил Писарева со своим другом Николаем Трескиным.

– Мы вместе кончали Ларинскую гимназию, но затем Коля пошел по математическому, хотя до сих пор жалеет об этом.

Небо над Васильевским было апрельского, сиреневого цвета, Нева была забита ладожским льдом, но снег на улицах растаял, и ветви деревьев, казалось, выведены тушью на долгом закате.

В этот вечер они втроем долго бродили по Острову. Заходили и в Андреевский собор, и в кондитерскую Кинши (угол Первой линии и Большого проспекта). Говорили об обязанностях мыслящего человека, и о Боге, и о любви, и о гоголевской «Переписке с друзьями». Писарев больше слушал. Много было для него совершенной новостью. Александр и Николай были годом старше и гораздо начитаннее. Очень понравился Писареву Трескин – худенький, очкастый, серьезный.

– В шестом классе, – рассказывал он, – ну, помните, в самый разгар войны, когда в гимназиях ввели батальонные учения, мне хотелось пойти в офицеры.

– Да, и ты эдак прищелкивал языком и говорил, что непременно будешь флигель-адъютантом!

– Подожди, Саша. Так вот, представьте, Писарев, я мечтал об эполетах. Но у нас был учитель словесности, такой Корелкин – не слышали? Скоро уж два года, как умер от чахотки. Он любил повторять, что современный развитый человек должен жертвовать собою во имя высших интересов.

– Мы благодаря ему бросили Дюма и Поль де Кока и беготню по Большому проспекту с папиросами в зубах. И поняли, что главное – наука, философия, университет.

– А мне тоже нравилось маршировать, – смеялся Писарев. – И должность нравилась: фланговый и линейный унтер-офицер восьмого взвода. Только первоклассниками командовать – мученье, особенно на церемониальном марше.

– А помните, как нам объявили, что умер государь Николай Павлович? Сколько было слез! Ведь это наше первое настоящее горе.

Они стали наперебой вспоминать разные случаи гимназической жизни, и Писарев впервые опоздал к вечернему чаю.

Через неделю начались экзамены, в том числе и по теории языка. Писарев тут же, прямо на экзамене вручил Сухомлинову две толстые тетради с переписанным набело переводом брошюры Штейнтала. Михаил Иванович просил почитать вслух. Текст оказался грамотным и связным. Профессор был доволен.

– Перевод весьма хорош, господин Писарев. По-моему, он заслуживает опубликования в нашем сборнике. Вот только объем великоват. Знаете что? Сделайте-ка из вашего перевода извлечение, а мы его и напечатаем.

Предложение было почетное, хоть и показывало, что у обожаемого учителя довольно странное представление о научной работе. Но Писарев думал не об этом. Просто Штейнталь ему смертельно надоел.

«А положение безвыходное. Сказать: “не хочу” – неловко, да и весь разговор совсем не в таком тоне был веден. Признаться в том, что переводил машинально, признаться публично, при студентах, ведь это значит – дураком себя назвать. Нет! что будет, то будет! Все эти размышления промелькнули в моей голове чрезвычайно быстро, и я сказал, что извлечение будет сделано».

Экзамены он сдал отлично, а половина курса срезалась. Вот когда он уверовал в свои силы. К тому же Сухомлинов облакал его – и не только на экзамене.

Они оказались соседями по вагону третьего класса в поезде, увозившем Писарева на каникулы, и до Москвы ехали вместе.

«Мы пробыли вместе 30 часов, и, по крайней мере, 10 часов были проведены в серьезных разговорах. Я с наивным восторгом объяснял... какую чудесную перемену произвел во мне один год, проведенный в университете, как перед моей мыслью открылись целые новые горизонты, и какие теперь у меня хорошие стремления».

Это написано спустя пять лет, когда в нашем герое уже обнаружилась поразительная черта – беспощадное, насмешливое отношение к своему прошлому. Не к одной какой-нибудь полосе, а вообще к любому прошедшему моменту собственной жизни. Как будто, просыпа-

ясь утром, он каждый раз начинал новую жизнь, – а вчера думал, действовал и говорил не он, а другой Писарев, гораздо глупее сегодняшнего.

Вот почему в шестьдесят третьем году он пересказывает содержание этого дорожного разговора с иронией и обидой:

«Человек рассудительный и неспособный удовлетворяться пылкими речами тотчас спросил бы у меня, в чем именно состоит перемена, какие горизонты и к чему клонятся стремления. При таком вопросе с меня поневоле соскочил бы хмель, и, может быть, за пароксизмом восторга последовал бы пароксизм уныния: пришлось бы вдруг сознаться, что все упоение произведено какою-нибудь дюжиною слов и что, кроме этих слов да профессорских записок, не воспоследовало никакого умственного приобретения. Но... все мои восторги были приняты за доказательства развитости, болтовня моя о науке сошла за чистую монету, и мой собеседник пресерьезно посоветовал мне заняться специально теорией или философией языка».

Можно представить себе, как горячо простился юноша с любимым профессором и в каком настроении проделал он остаток пути, спеша поделиться с родными этой последней радостью университетского года. В самом деле, итог представлялся более чем достойным: экзамены сданы с блеском, работа назначена в печать, а главное – сам профессор Сухомлинов взялся быть его руководителем. Теперь жизнь и карьера Мити Писарева – в надежных и заботливых руках.

Раиса стала взрослой барышней – вот единственная перемена, которую Писарев нашел в Грунце.

Его двоюродная сестра была не то чтобы красива, но миловидна: пушистые темно-русые волосы, мягкие черты лица, выпуклый лоб и насмешливые серые глаза. В сущности, они с Митей были похожи, но он этого не замечал. Зато Варвара Дмитриевна замечала очень. Она не могла сдержать гнева, когда видела, с каким безвольным обожанием сын ее подчиняется этой девушке. И то, что Раиса, очевидно, не была им увлечена (впрочем, кто ее знает, она ведь такая скрытная), почему-то злило Варвару Дмитриевну еще сильнее. Она принуждала себя быть осторожной и делать вид, что все хорошо. Да и в самом деле, должна же пройти у Мити эта детская блажь. Но ей было тяжело.

«Она положительно сделала для себя какое-то пугало из этой привязанности и ожидала от нее самых ужасных последствий, – писала Раиса Коренева много десятилетий спустя. – На религиозные убеждения тут сослаться нельзя: в других случаях она совершенно снисходительно смотрела на брак между двоюродными, но по отношению к нам она создавала себе какие-то призрачные страхи. Эти вечные волнения отравили жизнь и ей, и мне. Как только приезжал из Петербурга Митя, так на меня начинались гонения; он уезжал, и мамаша усиленной нежностью и самыми горячими ласками старалась как бы вознаградить меня за претерпленные несправедливости. Увлеченная этим добрым чувством, она сама же писала сыну, какая я хорошая девочка и как она меня любит. Но он приезжал на лето, и с ним вместе возвращались наши дурные отношения».

Лето шло заведенным порядком. Иван Иванович Писарев гарцевал по полям, брат его Сергей Иванович возился с «Мессиадой» Клопштока, которую затеял перевести. Варвара Дмитриевна каждый день занималась с дочерьми французским языком и музыкой. Приехавший в конце июня Андрей Дмитриевич взялся, как обычно, преподавать им литературу. Митя по утрам сидел за извлечением из Штейнталя, а после обеда пропадал с сестрами, Раисой и Андреем Дмитриевичем в саду.

Вечерами Иван Иванович с братом упражнялись на бильярде, а остальные рассаживались в гостиной – каждый на своем излюбленном месте, – играли в географическое лото или читали вслух. Тени от лампы плыли по потолку, расписанному деревенским художником. Соловьи в саду так гремели, что приходилось закрывать двери на балкон. Читал обычно Андрей Дмитриевич. Начал он с главной новинки – с «Губернских очерков» Щедрина, но Варваре Дмитриевне (которая хоть и не поднимала головы от шитья, а слушала внимательно) юмор автора показался грубым, а тон – злорадным. Тогда Митя вспомнил, что Скабичевский очень хвалил ему «Обыкновенную историю» Гончарова. Достали в одном образованном помещичьем семействе старый, десятилетней давности номер «Современника», – и недели две в лото не играли, и долго еще Раиса дразнила Митю Адуевым.

– Вещественные знаки невещественных отношений, – повторяла она, и оба смеялись, а Варвара Дмитриевна смотрела на них не мигая, отвердев лицом.

А потом лето кончилось, и Митя опять уехал в Петербург.

Глава третья

СЕНТЯБРЬ 1857 – АВГУСТ 1858

Студентов на факультете заметно прибавилось. На сводных лекциях по греческой грамматике (профессор Штейнман), по средней истории (профессор Куторга 2-й) аудитория бывала почти полна.

«На одной из первых таких сводных лекций в начале сентября, – вспоминает Петр Полевой, сын знаменитого издателя “Московского телеграфа”, поступивший той осенью в университет, – вызвался читать автора какой-то худощавенький, беленький и розовенький мальчик и чрезвычайно бойко прочел несколько десятков строф греческого текста; прочитав отрывок, он перевел его так же бойко, внятно произнося каждое слово своим мягким и тоненьким, почти детским голоском. Я спросил у студентов, как фамилия этого второкурсника? Мне ответили, что фамилия его Писарев, и прибавили еще, что он отлично знает древние языки, лучше всех студентов второго курса. На другой лекции – опять та же история, тот же студентик вызывается читать и переводить Гомера, и опять его нежный и тоненький голосок один в течение целого часа раздается в аудитории. На меня это подействовало пренеприятно – мне студентик этот показался выскочкой... Я бы, вероятно, невзлюбил Писарева за это, если бы не узнал вскоре, что он является выскочкой невольным, потому что остальные товарищи его лениятся готовить отрывки из классического автора и каждый раз заставляют переводить Писарева, который переводит Гомера без всякого приготовления. Это сведение значительно примирило меня с маленьким студентиком; притом же я в это время подружился с некоторыми из второкурсников, и они мне расхваливали Писарева как доброго малого и отличного студента...»

Да, теперь у Писарева были товарищи. Теперь по утрам он торопился в университет, чтобы увидеться с ними еще до лекций.

Трескин перешел-таки на филологический, выдержав дома страшную бурю, поднятую отцом – отставным адмиралом. Теперь он учился на первом курсе, а в перерывах между лекциями не отходил от Писарева и Скабичевского ни на шаг. Так втроем и бродили по коридорам, а из университета отправлялись к Трескину (тот жил рядом на Острове) и за чаем с плюшками рассуждали о том, чем духовная любовь выше телесной и вправе ли настоящий христианин жениться. Само собой разумеется, что история любви Писарева к кузине была известна его приятелям во всех подробностях. С присущей ему почти навязчивой искренностью Митя рассказывал о каждом письме, полученном из Грунца, и жаловался на холодность Раисы. Но Трескин и Скабичевский, хотя и сочувствовали ему, все же стояли на том, что любовь к женщине несовместима ни с уважением к ней, ни с заповедями Евангелия. Всем троим эти беседы в полутьме (шторы были задернуты, крошечную комнату озаряла единственная свеча) доставляли огромное удовольствие, хотя они и доводили порою друг друга до слез.

Попечитель разрешил факультетские сходки для обсуждения работ, предлагаемых в сборник. Филологи могли собираться два раза в месяц в зале Пятой гимназии, у Аларчина моста.

Обсуждать оказалось, в сущности, нечего. Первый выпуск был почти готов, а материалов на второй пока не было. Между прочим, работа Писарева в первый выпуск не попала. Сухомлинов заявил, что недавно вышла в свет подробная биография Гумбольдта, написанная Гаймом. Хорошо бы, дескать, по этой книге составить статью, которая дополнила бы уже готовое извлечение из Штейнталя. А до тех пор о сборнике думать рано. Итак, все надо было начинать сначала. Писарев согласился – что еще оставалось, чуть ли не год ушел на эту работу, не бросать же теперь.

– Не огорчайтесь, Писарев, – сказал ему, когда сходка окончилась, Леонид Майков, однокурсник. – Вы сами виноваты: зачем взяли тему такую трудную? Но времени впереди еще много, а сегодня давайте кутить. Все наши собираются у меня, это недалеко, на Садовой, напротив Юсупова сада. Пойдемте вместе.

– Очень охотно.

Майковым Писарев восхищался и чуточку завидовал ему. Этот рыхлый, приветливый скромник мог не беспокоиться о своей будущности. Сын академика живописи, брат модного поэта (даже Писарев знал наизусть «Ниву» Аполлона Майкова), он вырос в доме, где любили бывать запросто и писатели, и профессоры, и журналисты. История литературы была для него как бы семейной хроникой, тему («Тилемахиду» Тредиаковского) он выбрал без колебаний уже на первом курсе, и сам Сухомлинов во всеуслышание называл Майкова весьма дельным филологом.

– Старик Аксаков в своих воспоминаниях много интересного рассказывает о знаменитом драматурге Александре Ивановиче Писареве. Это не родственник ваш?

– И довольно близкий – родной дядя. Но он умер совсем молодым, когда меня и на свете не было.

– Я тоже Валерьяна почти не помню. Знаете, был такой критик, соперник Белинского, Валерьян Майков? Это мой брат, он погиб двадцати трех лет.

– Как это – погиб?

– Утонул в озере под Петергофом. А был, говорят, отличный пловец. Вы приходите к нам как-нибудь вечером, Писарев. Мама прочла аксаковские воспоминания и велела, чтобы я непременно вас ей представил.

...Толпой ввалились в тесный кабинетик, заставленный книжными шкафами. Сбросили сюртуки, откупорили мадеру и лафит, закурили сигары. В сущности, все было очень чинно, и все же каждый упивался сознанием, что начинается настоящая студенческая пирушка. Кроме Писарева, Трескина и Скабичевского, здесь был Викентий Макушев – целеустремленный зубрила, не умевший говорить ни о чем, кроме славянских древностей, и еще трое студентов: Георгий Замысловский, Филипп Ордин и первокурсник Петр Полевой. Эти трое в занятиях не усердствовали. Ордин пропадал в маскарадах и в итальянской опере, Полевой предпочитал общество девиц в Загибенином переулке, а Замысловский, прозванный за нрав и шевелюру Лихачом Кудрявичем, любил встречать рассвет в ресторанчике где-нибудь на Островах.

...Выпили за дружбу, за университет. Долго отчитывали Скабичевского, высказавшего намерение сделаться журналистом, изменить чистой науке. Кстати уж осудили в один голос легкомысленных первокурсников, затеявших рукописный журнал «Колокольчик» явно в подражание Герцену: этим они только ставят под угрозу университетские вольности, больше ничего.

– Бросьте вы умничать, – кричал Полевой, – давайте лучше бороться!

Поднялась возня. Вечер тонул в сумбурном, скучноватом веселье. Но было твердо решено, что такие пирушки должны войти в обычай.

Вот и пошла жизнь Мити Писарева размеренными кругами. Коридор университета переходил в Невский проспект, на расписание лекций наплывала театральная афиша (петербургскую молодежь сводило с ума пение итальянки Бозио), от Аларчина моста Писарев вслед за товарищами брел к Юсупову саду или на Васильевский – к Трескину. Дома, то есть в семействе генерала Роговского, его почти и не видали, и дядюшка Михаил Мартынович махнул на него рукой после того, как Митя отказался пойти ко всеобщей в день его именин – спешил, видите ли, на сходку.

Зато лекции Писарев посещал неуклонно и целые вечера просиживал в Публичной библиотеке над книгою Гайма – купить этот толстенный том ему было не по карману – он стоил пять рублей!

В библиотеке было душно, читатели вставали, входили, выходили, шуршали страницами, шептались, из коридора доносились голоса. Писарев затыкал уши, сжимал руками голову. В нем еще теплилась надежда, что вся эта работа не пропадет совсем впустую. В конце концов, он читает серьезные книги, приобретает знания, этого ведь на улице не найдешь.

Он отмечал на клочке бумаги собственные имена и даты.

«Надо знать, какое это неприятное чувство – видеть перед собой несколько собственных имен, знать, что их следует поместить в статью, и чувствовать при этом, что можешь сказать о них только то, что вычитал вчера в книжке; собственного мнения не имеешь; боишься употребить свой оборот или свой эпитет, потому что можешь провратиться; и при всем этом соблюдаешь декорум и притворяешься перед публикою, будто владеешь вполне обрабатываемым материалом. Точно будто ходишь на цыпочках по темной комнате и каждую минуту ожидаешь, что стукнешься лбом в стену или повалишь ногою какую-нибудь затейливую мебель».

Когда-то в гимназическом сочинении Писарев признавался, что всегда чувствует отвращение к тому, что ему не удастся. Через несколько лет в статье «Наша университетская наука» он напишет – никогда не мог долго заниматься тем, что не доставляет умственного наслаждения.

Сейчас в зале Публичной библиотеки, стискивая голову руками, он не мог дать себе отчет, что с ним происходит, отчего такое глухое, безнадежное отчаяние, точно предчувствие чего-то ужасного, – тоска, похожая на тошноту, – охватывает его.

Перед зимними каникулами Писарев отдал Сухомлинову законченную статью – и услышал, что есть еще сочинение о Гумбольдте, которое он также должен принять к сведению.

Это уже походило на насмешку.

«Я заметил ему, что, стало быть, придется переделывать заново всю работу; на это он возразил, что переделывать незачем, а что можно прочитать эту книгу Шлезиэра “Воспоминание о Вильгельме Гумбольдте” и потом сделать некоторые дополнения и вставки. Я покорился...»

Из Грунца шли невеселые письма: ввиду предстоящей эманципации крестьян семье грозило разорение. Никаких методов ведения хозяйства, кроме нещадной порки, Иван Иванович не знал.

В гостиной у Майковых тоже только и слышно было, что об эманципации, о рескриптах государя виленскому и петербургскому генерал-губернаторам, о его речи к московскому дворянству: лучше-де начать сверху, пока не началось снизу. И будто бы уже образован комитет для проведения реформы. Реформа было самое модное слово. И верно – перемены буквально бросались в глаза. Россия переодевалась. Всем родам войск, всем чиновникам предписана была новая форма одежды. Студенческих мундиров пока не отменили, но они как-то сами собой вышли из обихода, и нужно было просить у дядюшки денег на партикулярный сюртук.

У Майковых собиралось много народу. Общий разговор получался редко: в каждом углу смеялись о своем. Впрочем, обычно оказывалось, что для гостей припасен какой-нибудь занятный сюрприз: явление модной знаменитости, например, или лотерея в пользу бедных, или сядет за рояль, скажем, композитор Вильбоа и споет романс своего сочинения.

Отшелестят аплодисменты – и возобновляется нестройный, оживленный гул. За чайным столиком – один разговор, на диване – другой, а в кружке молодежи у окна – третий.

– Государь добр и благороден, но слаб и нерешителен. А вот Константин Николаевич...

– Это вряд ли верно. Государь всех слушает, но никого не слушается.

– Говорят, он читает «Колокол».

Писарев тут никого не знал, и на него никто не обращал внимания. Он солидно прогуливался по зале, переходя от кружка к кружку, и метель непонятных толков шумела вокруг него, наводя сон. Отставка Пальмерстона. Покушение Орсини на Наполеона III. Крестьянское дело.

– Напрасно все-таки Некрасов раздражает цензуру. От этого всем только хуже...

– Шевченко наконец прощен. Он здесь, в Петербурге. Бенедиктов был у него...

– Полонский пишет из Рима, что встретил там графа Кушелева-Безбородко, – знаете, этого молодого расслабленного миллионера. Граф, среди прочих безумств, вознамерился издавать новый журнал – «Русское слово» и поручает Полонскому редакцию...

– Вы слышали, как мадам Шелгунова интриговала Тургенева в маскарade?

– Теперь показывают в Петербурге женщину-обезьяну. Она вся покрыта шерстью, и у нее борода. Зовут ее Юлия Пастрана. Она говорит по-английски, танцует и поет. Кто-то выдумал, что Михайлов в нее влюбился и изменил Шелгуновой!

– Какой вздор!

Здесь, в гостиной у Майковых, Писарев впервые увидел Гончарова. Говорили, что автор «Обыкновенной истории» недавно окончил новый роман, который скоро будет напечатан. Гончарова Майковы любили, за ним ухаживали. У него было здесь постоянное место: за чайным столом, возле хозяйки дома. Толстенький, чопорный, с вялой речью и холодным юрким взглядом, не похож он был на романиста.

И Писемский тоже оказался престранным господином – бесцеремонный, громогласный, зачастую крепко навеселе.

Рассевшись в кресле посреди гостиной, он принимался вдруг, ни к кому не обращаясь, энергически укорять современную молодежь, которая пришла на все готовое и не умеет чувствовать благодарность.

Писареву становилось не по себе. Аполлон Майков, потряхивая черными, тщательно расчесанными кудрями, старался перевести разговор на литературные новости.

По дороге домой Писарев бранил себя за то, что напрасно потерял три часа, да еще и четвертак, который придется заплатить извозчику. До дома было минут двадцать скорой

хотьбы, но бродить ночью по всем этим Казначейским и Подъяческим было небезопасно: сказывалась близость Сенного рынка.

Но главное, что ужасало его, – было потерянное время. Дни шли все быстрее. Будущность пятилась от него.

Как он завидовал Майкову или Макушеву, как он хотел, подобно им, отмежевать себе тему и замкнуться в ней. Представить себе определенную цель и продвигаться к ней, шаг за шагом, следуя чьим-нибудь авторитетным указаниям.

Но здесь, в университете, в целом Петербурге, не было человека, который принял бы в Писареве горячее участие.

Измаил Иванович Срезневский, который так возился с Викентием Макушевым и был, по слухам, чуть ли не дружен с Добролюбовым, – этот самый Измаил Иванович был с Писаревым любезен, но сух, видел в нем дилетанта и барища и высмеивал любую его попытку заняться славянскими наречиями.

«Когда я в совершенном отчаянии спрашивал у него: да что же мне делать? Чем заниматься? – тогда он с необыкновенным искусством успокаивал меня на минуту несколькими общими словами и таким образом уклонялся сам от всякого категорического ответа».

А Сухомлинов... Пронесся слух, что он уезжает в заграничную командировку на несколько лет. Писарев наконец отдал ему готовую многострадальную статью о Гумбольдте. Профессор похвалил его равнодушно. И хотя статью, обсудив на очередной сходке у Аларчина моста, приняли в сборник, радоваться Писарев уже не мог. Ведь почти два года потрачено, половина университетского курса позади. А каков результат?

«Слова, стремления, беготня по коридорам университета, бесплодное чтение, не оставлявшее по себе ни удовольствия, ни пользы, машинальная работа пером, не удовлетворявшая потребностям ума и не дававшая даже денег, школьническое приготовление к экзаменам и школьническое отвечание на экзаменах, скука на лекциях, скука дома – вот и все, что пережито мною в эти два года, вот и все, чем наградил меня волшебный мир университета за мою страстную и неосмысленную любовь к недостижимым и неведомым сокровищам мысли».

Наступила весна. Писарев сдавал экзамены – как всегда, с блеском. Вместе с Трескиным ходил смотреть парад по случаю освящения Исаакиевского собора. Побывал и в Зимнем дворце, где была выставлена картина художника Иванова «Явление Мессии». Художник недавно приехал из Италии, там прожил чуть ли не двадцать лет и все работал над этой одной картиной.

Трескин восхищался, а Писарев хмурился. Двадцать лет, думал он, двадцать лет работать в неизвестности и только истратив жизнь добиться успеха. И это при том, что у художника были ясная цель, и любимое призвание, и признанный талант. А у меня? Что есть у меня? Что мне делать?

– Нет, ты пойми, – говорил он Трескину. – До выхода из университета остается меньше двух лет, а потом что? Жить по-прежнему на родительских хлебах? Да ведь надо же и честь знать. По ученой части пойти? В учителя гимназии? Это, конечно, хорошо, но только что же я за учитель? Что я знаю, кроме книги Гайма о Вильгельме Гумбольдте? И что я успею изу-

чить в течение этих двух лет, когда мне в это время придется еще готовиться к выпускному экзамену и писать кандидатскую диссертацию?

Трескин терпеливо выслушивал монологи друга, хотя считал его тревогу отчасти надуманной. Не может стать, возражал он, чтобы такой блестящий студент, как Митя, не нашел, окончив, достойного места. И потом, это будет еще так не скоро. Два года – большой срок, а пока что Мите нет и восемнадцати, а над городом такое лето, что на шпиг Петропавловской крепости больно смотреть – так сверкает. И пора Мите собирать вещи, а он, Трескин, придет на вокзал его провожать.

Но говорил он это с грустью. Не зря шутил Скабичевский, что чувствительный Коля и рассудительный Митя созданы друг для друга и не могут врозь прожить и дня, как старосветские помещики. Писарев списался с матерью, Трескин переговорил с отцом. Было решено, что в Грунец приятели отправятся вместе, и Коля проведет там хотя бы несколько недель, а с осени Митя поселится у Трескиных.

Проводили Сухомлинова на пароход: бывший Митин кумир уезжал за границу. Прямо с Английской набережной пошли гурьбой в трактир и немножко выпили по случаю окончания семестра. Вечером адмирал, Колин отец, строго сказал:

– Вот что, молодые люди. В городе холера. Художник Иванов сегодня умер от нее. Так что извольте собираться – я купил вам обоим билеты на завтрашний поезд.

Трескин погостил в Грунце до конца июня и уехал, а в июле Писарев сделал кузине предложение. Вышла, должно быть, очень грустная сцена, потому что Раиса была девушка умная и понимала, насколько все это важно для Мити. Сколько она его помнила, он всегда любил ее больше всех на свете. Стало быть, нечего было и толковать о том, что он ошибается в своем чувстве, что его любовь пройдет, – она и сама в это не верила. Да и не хотела этого. Она была сирота, она была одинока и росла среди добрых, но чужих людей. Этот смешной брат, этот странный мальчик целых восемь лет, почти половину ее – и своей – жизни, открыто и кротко обожал ее, и благодаря его нелепой, ребяческой страсти, над которой все вокруг так охотно трунили, Раиса не чувствовала себя лишней в доме Писаревых. Она привыкла быть любимой, это стало чертой ее характера. А ведь после покойной матери один Митя любил ее горячо и сильно.

Но Раиса его не любила. Вернее – не была влюблена. Еще точнее – ей было стыдно и почти противно, что Митя, с которым она – двух лет не прошло – играла в куклы, такой родной, такой понятный, скорее уж сестра, чем брат, – и вот желает на ней жениться, стать ее мужем...

«Но я все-таки Митю люблю и решительно не понимаю тех, которые его отталкивают, но, разумеется, еще менее поняла бы ту женщину, которая полюбила бы его и отдалась ему. Понятно, о какой любви я говорю и какая разница между ею и тем, как я люблю Митю», – напишет еще года через два Раиса Варваре Дмитриевне.

А сейчас Мите она говорила все-таки о том, что надобно еще подождать, пока они оба станут совершеннолетними. Что привыкла любить его как брата, а этого мало для замужества, и счастливы они не будут. К тому же этот брак разобьет сердце Варваре Дмитриевне и поссорит Митю с родными.

Он искусно и даже весело отражал ее доводы: конечно же, он их все предвидел. Ничто не могло поколебать его уверенности, что рано или поздно она станет его женой. Он соглашался ждать сколько угодно и терпеть все. Было очевидно, что весь смысл его жизни заклю-

чался в этой мечте. Невозможно было не дать ему хоть слабой надежды, тем более что, как выражались тогдашние романисты, сердце Раисы было свободно. И они условились ждать, пока Митя закончит университет и найдет себе должность. Пока что пускай все остается по-старому. А там будет видно. Может быть, за два года вообще все забудется и травой порастет. Митя очень смеялся этому предположению Раисы.

Дней десять спустя после этого разговора Раиса получила приглашение погостить в Истленеве, у Николая Эварестовича Писарева. Она очень дружила с его дочерьми, Машей и Любой. Варвара Дмитриевна не возражала, и Раиса уехала. Писарев увиделся с нею только в конце августа, явившись с обязательным визитом к Николаю Эварестовичу.

Трескин, предупрежденный письмом, ждал его у дебаркадера Николаевского вокзала.

Взяли извозчика, велел ему ехать на Васильевский. По дороге Николай рассказывал главные новости. Во-первых, Щербатов смещен. Попечителем университета назначен какой-то Десянов. А Щербатову велено было подать в отставку – говорят, за то, что он разрешил профессору Кавелину напечатать в журнале статью об освобождении крестьян с землею. Во-вторых, в университете новый профессор богословия – протоиерей Полисадов, настоятель Петропавловского собора. Он магистр философии, этот Полисадов, и жил одно время за границей. И еще новое лицо – Стасюлевич, будет читать у нас среднюю историю.

– В-третьих, народу в этом году поступило видимо-невидимо. Но из двухсот пятидесяти человек только один – на филологический. В-четвертых, наши все уже съехались, одного тебя не доставало. Особенно Майков о тебе спрашивал. Кстати, Владимир Майков теперь в отъезде, и редакцией «Подснежника» вместо него заведует Леонид. Еще о журналах. Дюма-отец этим летом приезжал в Петербург. А сейчас граф Кушелев-Безбородко отправляет его на свой счет в кругосветное путешествие. Много сплетен ходит об этом графе. Он богат, как Монте-Кристо, а пишет рассказы и в своем дворце задает пиры литераторам. Он одержим пляской святого Вита, но это не помешало ему жениться недавно, и как-то скандально жениться, так, что семья графа отвернулась от него. Он тоже надумал теперь издавать журнал, и уже наш Всеволод Крестовский приглашен в сотрудники. Это в-пятых, а что же в-шестых? Ах, да! В газетах пишут – Шамиль сдался князю Барятинскому. В ауле Гуниб. Теперь его, наверное, в Петербург привезут. Извозчик! Сворачивай!

Глава четвертая

1858. СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

Этой осенью Писарев был настроен чрезвычайно решительно. «Пропали даром два года: я молод и деятелен; наверстать потерянное время нетрудно». Теперь главное было – в кратчайший срок выбрать себе научную специальность и руководителя. Срезневский или Стасюлевич? Стасюлевич был новый профессор истории. Он только что вернулся из-за границы, где три года усовершенствовался в науках. Это был элегантный, надушенный джентльмен, любивший щегольнуть своим коротким знакомством с европейской культурой. Маколея он называл: Мэкаулей. Постановка тем и разработка их в лекциях, даже самые имена, на которые он ссылаясь: Тьерри, Мишле, Прескотт и Мотлей – все это у Стасюлевича было изысканно и сильно било на эффект. Но к эффектам Писарев теперь относился с опаской. Перечитывая свою статью о Гумбольдте (ее предстояло – в последний раз! – просмотреть и выправить перед тем, как сдать в набор), он с отвращением и обидой вспоминал Сухомлинова; направил на ложную дорогу, а сам отвернулся, уехал. А тоже все начиналось блестящими фразами. Нет! Наука – это сухое, скрупулезное изучение фактов, наука – это Срезневский. Не беда, что его любезности насмешливы, а древние славянские памятники невыносимо скучны. Все же это тексты, это факты, их можно собрать, сопоставить, понять. Стерпится – слюбится. Что под силу Викентию Макушеву, этому самодовольному педанту, то сумеет и Дмитрий Писарев. И как еще сумеет! Да что, в самом деле, не в чиновники же идти...

Он набрал в университетской библиотеке гору книг. Наскоро сделал обязательные визиты родственникам. Однокурсники собрались всей компанией посетить «заведение минеральных вод Излера», а Писарев отказался: «время дорого, и путь ко спасению узок и прискорбен», – и провел этот вечер за чешской азбукой.

Как знать! Он мог пересилить себя и сделаться ученым. Но тут произошло вот что.

Понадобились деньги. Из Грунца он уезжал богачом: и папаша дал на жизнь, и благодетель Николай Эварестович по обыкновению подарил пятьдесят рублей на конфеты. Но, доехав до Москвы, Митя не отправился прямо на железную дорогу, а навестил дядю Андрея Дмитриевича, да и провел у него в гостях несколько дней. Андрей Дмитриевич служил корректором при какой-то московской редакции, служба эта оставляла ему много свободного времени. Они вдвоем бродили по Москве, и ездили в Марьину рошу, и слушали цыганское пение, и без конца говорили о Раисе, о любви вообще и о том, как страшно быть неудачником, а по вечерам отправлялись в театр. Эти душевные августовские дни были прекрасны, однако деньги таяли, их едва хватило на дорогу до Петербурга.

И вот теперь они вовсе кончились. В Грунец писать об этом было невозможно, занять у родителей Трескина – неудобно. И Писарев спросил у Леонида Майкова: нет ли какой-нибудь работы? Леонид обещал дать перевод, пригласил к себе. Писарев явился в тот же вечер и получил поручение перевести из иностранных газет несколько заметок для «Подснежника», для раздела «Смесь». Полистав летние номера журнала, действительно изящные и занимательные, он уже собрался уходить, когда Майков сказал:

– Сегодня был у меня один господин, некто Кремпин Валериан Александрович. Артиллерийский офицер, теперь в отставке. За женой он получил какие-то деньги и хочет их употребить на издание журнала для девиц. Сейчас ведь, после статей Михайлова в «Современнике», все только и говорят что о женском вопросе. Так вот, этот Кремпин ищет сотрудников, просил рекомендовать ему студента, который мог бы вести в его журнале библиографию. Я

указал на тебя. Он пожелал познакомиться. Живет он в Малой Дворянской, в доме Беркова. Сходи, потолкуй с ним. Да не продешевь, торгуйся, он, кажется, прижимист.

На следующий день Писарев отправился на Петербургскую сторону. Он воображал себе предстоящий разговор и волновался. Он думал, что решается его судьба, и не знал, что так оно и было. Он так хотел, чтобы этот издатель, этот Кремпин, понял, как Митя Писарев ему необходим. Он будет работать день и ночь, и люди станут спрашивать друг у друга: «Вы читали новый журнал? Это неважно, что он для девиц, вы подпишитесь непременно, там библиография лучшая в России!». И подписка вырастет необыкновенно, и первый же номер надо послать в Грунец, а Кремпин увидит, что без Мити ему не обойтись, и возьмет его в помощники, а потом и вовсе передаст ему редакцию, а журналисты, Майков говорил, теперь зарабатывают больше, чем профессоры, взять хотя бы Чернышевского. Вот Раиса удивится...

Несколько дней назад ему исполнилось восемнадцать. Пошел октябрь. На деревьях еще развевались пестрые облака листвы, Большая Невка сверкала, смеялись дамы в прогулочных яликах, и сотни подков гвоздили булыжник.

Кремпин, плотный мужчина лет сорока, держался приветливо, хотя чуточку важничал. Видно было, что он очень гордится своей ролью издателя и еще не привык к ней. Он объявил Писареву, что журнал его будет называться «Рассвет», и показал изготовленную для обложки виньетку: женщина, заложив руки за голову, спит на каком-то античном ложе, а над нею парит в воздухе другая женская фигура, пытаясь разбудить спящую и указывая рукой на восходящее солнце.

— Это, видите ли, гений преобразования-с...

Оказалось, что и передовая для первой книжки уже готова, и Валериан Александрович громко и выразительно прочитал ее Писареву. В статье очень красиво говорилось о благодетельных переменах, коими ознаменовано новое царствование: отмена ограничений при приеме в университеты, амнистия изгнанникам, строительство железных дорог, проекты улучшения быта крепостных.

— «Наконец, на рассвете нового дня для России, подлетает гений к спящей русской женщине и будит ее, указывая на тот путь, по которому она должна идти, чтобы сделаться гражданкою и приготовить себя к высокому долгу — быть воспитательницею нового, подрастающего поколения».

После нескольких фиоритур в этом роде издатель изъяснял программу своего журнала:

— «Главная цель “Рассвета” — возбудить сочувствие молодых читательниц к тому направлению, которое получило наше общество в последнее время, — доказать им, что современные идеи вполне согласуются с духом христианского учения».

Статья была довольно длинная, но Писареву понравилась, и он горячо выразил свое одобрение.

Поговорили о библиографии. Кремпин хотел, чтобы в этом отделе разбирались религиозные и популярно-научные брошюры, а также статьи из лучших русских журналов.

— Весьма желательно, не входя в подробности, указать девицам — а вернее, воспитательницам их, — что следует прочесть, чтобы вникнуть в современные идеи. Выберите что-нибудь — ну хоть из «Отечественных записок», да и напишите на пробу, — ласково заключил Кремпин. Манеры Писарева произвели на него самое выгодное впечатление. Особенно ему пришлось по душе то, что маленький студент брался разбирать и французские, и немецкие книги.

Кремпин не был и нисколько не чувствовал себя литератором. Однако любил почитать книжку и побеседовать о ней с умным, развитым человеком. Через тетюшку свою, директрису Екатерининского института, он был знаком с петербургскими педагогами — Стоюни-

ным, Класовским, Шишкиным, и общество их предпочитал офицерским попойкам. Удачная женитьба дала Кремпину возможность избавиться от службы, но теперь им овладела жажда независимой, честной и прибыльной деятельности. Вокруг все покупали акции железных дорог и пароходств, но периодическое издание представлялось ему делом более увлекательным и надежным.

Расчет простой. Положим на первый год тысячу подписчиков. Больше вряд ли будет (у самого «Современника» только пять с половиной тысяч), а тысяча наберется. Мы приманим господ подписчиков дешевизной. «Современник» не всякому по карману. А у нас подписная цена на весь год, скажем, восемь с полтиной. Таким образом, от подписки мы получим восемь тысяч пятьсот рублей. Теперь посчитаем расход. Книжка журнала – десять печатных листов. Половину займет переводная беллетристика, главным образом с французского, такие переводы оплачиваются по десяти рублей за лист. Два листа займет библиография: по тридцати рублей за лист. Еще три листа – статьи, переводные и оригинальные; оригинальная статья размером в лист, если автор не имеет известного имени, будет стоить рублей пятьдесят. Всего, таким образом, придется платить сотрудникам около двухсот пятидесяти в месяц. Прибавим расходы на типографию, на бумагу, жалованье корректору, писцу, рассыльному, канцелярские расходы, – наберется еще столько же, если не гнаться за первым сортом. Но пускай даже расходы по номеру составят шестьсот рублей. Это семь тысяч двести в год. Стало быть, от суммы подписки останется тысяча триста – чистый доход издателя. Это не меньше, а то и больше, чем получает столоначальник в департаменте. А ежели подписка будет расти? Успех Некрасова у всех перед глазами. Каменный дом Краевского чуть ли не в пословицу вошел. А какую пользу можно принести делу прогресса!

Ни малейшей, либо какую-нибудь совсем ничтожную, – утверждал человек, подписывавший свои статьи в «Современнике» последним слогом фамилии: —бов.

«У лучших наших журналов, в которых сосредоточивается вся литературная деятельность, насчитывается до 20 000 подписчиков, столько же будет и у газет (хотя подписчики на журналы обыкновенно подписываются и на газеты). Если на каждый экземпляр положить 10 читателей, то окажется 400 000. Можно порадоваться такой цифре, забыв на минуту, что она преувеличена. Но скажите, что же значат эти сотни тысяч пред десятками миллионов, населяющих Россию?»

Возможно, Кремпин невнимательно прочитал эту (в февральском «Современнике») статью; возможно, не догадался разузнать (хотя бы на почтамте), сколько в России новых журналов и газет (а за три последних года их число удвоилось: до двухсот пятидесяти названий). Или же прочитал и разузнал, но все равно гибельная пропорция – двести пятьдесят изданий на двадцать тысяч подписчиков! – его не смутила. К счастью для литературы, издателями редко становятся люди благоразумные.

...Через несколько лет Писарев будет о «Рассвете» вспоминать с усмешкой:

«Мы даже за эмансипацию женщины стояли, стараясь, конечно, не огорчать такими суждениями почтенных родителей. Добродетель мы любили особенно горячо и об ней говорили уже совершенно смело...»

Но в тот октябрьский день пятьдесят восьмого года, когда Писарев вышел от Кремпина, иронии в нем не было. Вся жизнь его осветилась новым увлечением.

Он и раньше знал, что умеет писать. Не зря же чуть ли не с пяти лет вел подробный дневник, а с десяти поддерживал с Грунцом самую регулярную и обстоятельную переписку. Выработалась привычка плавной, без помарок, письменной речи, поспевающей за мыслью, выработалась пространная, отчетливая фраза. Сотни часов, проведенных над статьей о Гумбольдте, тоже, как видно, не пропали даром: научили сжато и внятно пересказывать прочитанное. Казалось бы, чего еще? Но для журнальной библиографии, и особенно для Кремпина, который так дорожил – это Писарев сразу почувствовал – солидной внешностью своего издания, нужно было найти особый тон – уверенный тон хорошо осведомленного человека. Ни в коем случае нельзя было выдать себя и позволить читателю – или тому же Кремпину – догадаться, что предметы и вопросы, трактуемые рецензентом, – такая же новость для него самого, как и для воображаемых девиц, к которым он обращается.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.